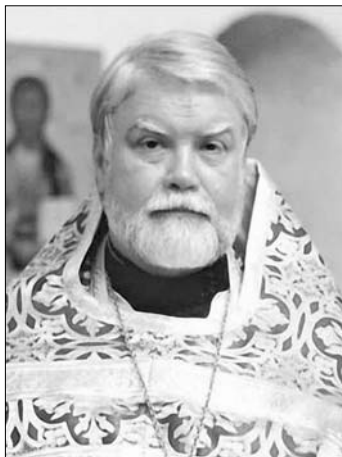


о. ЯРОСЛАВ ШИПОВ



НЕЧТО НЕПОПРАВИМОЕ

РАССКАЗЫ

ТРУДОДЕНЬ

Было мне тогда, наверное, лет двенадцать. Неожиданно меня взял в напарники самый знатный рыболов нашей деревни. Начать с того, что он много лет провел на дипломатическом поприще за границей и вооружился превосходнейшими снастями, каких у нас в ту пору нельзя было увидеть даже во сне. А еще он умел подобрать насадку, меняя червяка на хлебный мякиш или на тесто, в которое добавлял то анисовое масло, то губную помаду с кондитерским запахом. Рыбачили мы под мостом, где глубина достигала десяти метров, что, безусловно, нравилось лещам. Ловили с лодки, подвязывая ее к обрезкам арматуры, торчащей из железобетонных опор. В мои обязанности входила заготовка червей и работа с подсачком при вываживании крупной рыбы. Промысел складывался удачно, и каждый день мы кого-нибудь угощали.

Занятие наше, начинавшееся глубокой ночью, неукоснительно останавливалось в семь утра, когда к мосту приближался речной трамвайчик. Надо было собрать все снасти, оттолкнуть лодку от бетонной опоры и удерживать ее так, пока не утихнут волны, поднятые суденышком. Действия эти мы отработали до совершенства: дипломат упирался ногой, я — веслом. Но однажды совершенство нам изменило: может, оттолкнулись мы слишком сильно,

ШИПОВ Ярослав Алексеевич родился в 1947 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. С 1979-го по 1981 год работал в журнале "Наш современник". Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России. С 1991 года — священник. Служил на отдаленных сельских приходах. В настоящее время служит и живёт в Москве.

а может, волна превзошла обычную высоту... Точно одно: напарник мой не удержался и упал в воду. Так, весьма решительным образом, нормальное течение дня сменилось чередой неожиданных событий.

Забраться в лодку не получалось даже с моей слабой помощью: одежда намочилась, и он никак не мог заползти на борт. Пришлось мне буксировать его, но не к нашей деревне, до которой было порядка двух километров, а к соседней, располагавшейся за мостом. Добрались. Выйдя на берег, он судорожно сбрасывал с себя куртку, рубашку, ботинки, брюки... Остался в голубых шелковых трусах, широкополой соломенной шляпе и, дрожа от холода, засеменил босиком к ближайшей избушке, над которой так притягательно вился печной дымок. Я — следом. Миновав сени, он деликатно постучал в дверь — ответа не было, постучал снова, чуть громче — никто не отозвался. Тогда он приоткрыл дверь и, стоя в проеме, сделал официальное заявление:

— Я дипломат, работал консулом...

Где он работал консулом, я не услышал: чугунок с вареной картошкой, словно из пращи, вылетел в нашу сторону из ухвата — хорошо, что дипломат успел затворить дверь. Мы постояли молча, потом он говорит:

— Может, вы попробуете?

Я догадывался, что прилетевший к нам чугунок не один в печке, но отступать было некуда.

— Теть! — закричал я. — Мы дачники! Из Булавина! Дяденька с лодки упал — промок весь!

— Дачники? — переспросила она, открывая дверь. — Тогда заходите. Дайте, я только картошку соберу — поросенку варила.

— Доброе утро! — поздоровался дипломат, одной рукой снимая широкополую шляпу, другой — прикрывая пройму на голубых трусах. И торопливо зашлепал к печке.

Хозяйка выдала ему женский халат, потом спустилась вместе со мной к реке, чтобы забрать намоченную одежду. А я взял свой простенький спиннинг, саморучно сделанный из можжевельника, и пошел вдоль берега, забрасывая похожую на окунья блесну. Называлась она “Отличная”. Бросил несколько раз и поймал первую в жизни щуку.

Положил ее на траву, метрах, наверное, в десяти от берега, чтобы не убежала обратно. А сам засуетился: кидая и кидая блесну — может, еще возьмет. Вдруг вижу: моей рыбины нет. Я — вдоль берега: туда, сюда — нет. Поднимаю глаза — а щука на взгорке, большой черный кот пытается утащить ее. Отвоевал я добычу: хвост был слегка погрызен, а все остальное — в сохранности.

Солнышко стало пригревать, я понял, что рыбалка закончилась, и пошел домой. Дипломата не стал тревожить, полагая, что он вполне мог задремать, пока его одежда сохнет на печке.

Когда я предьявил рыбу отцу, он искренне изумился. А потом озадачил:

— Ты же собирался теребить лен. Сегодня начали...

Да, собирался. Я так полюбил этот лен в пору цветения, что хозяйка обещала взять меня с собой, когда наступит время уборки. Однако мы с консулом поднимались рано, еще до того, как бригадир, ездивший на телеге, постучит в окно рукоятью кнута. И ведь с вечера не было никаких разговоров про лен, а за ночь все перевернулось. Может, конечно, агроном приезжал: тот гоняет на стареньком мотоцикле по деревням, дает всякие распоряжения... Я бросился через огород в поле. Нашел нашу хозяйку, она показала, что надобно делать, и оставила меня. Впрочем, оказываясь неподалеку, каждый раз поправляла мои снопы, говоря: “Ладонки малы — неухватисты. А так — ничего, справляешься”. Обедали мы на бригадирской телеге: женщины угощали друг дружку молоком, хлебом. И меня накормили. А потом опять: правой рукой выдергиваешь, в левую — кладешь...

Домой вернулся без сил. Хозяйка сказала, что заработал я один трудодень. Позвала в кладовку, где у нее стоял мешок с пшеном, и говорит: “Возьми, сколько сможешь”. Зачерпнув ладонями зерно, спрашиваю:

— Это и есть трудодень?

— В наилучшем виде.

— А что с ним делать?

— Ну, иди покорми Пеструшку.

Пеструшка эта была некогда сбита грузовиком, но не насмерть, хотя расстрепало ее обстоятельно. После таких событий курицу ожидала безоговорочная лапша, однако мне удалось защитить Пеструшку, а потом и вылечить. Я прибинтовывал поврежденное крыло, мазью, взятой для моих царапин и ссадин, смазывал ободранные лапы. Наверняка, делалось все это не лучшим и не самым правильным образом, но Пеструшка выздоровела и стала отличать меня от всех прочих людей. Старалась, например, лично мне сообщить, что снесла яичко, и показывала, где оно.

Я вышел во двор, позвал Пеструшку, и она, бросив куриное стадо, прибежала.

— Вот, — говорю, — я тебе трудодень заработал, — и протягиваю ладони.

Пеструшка угостилась. Тут остальные куры подоспели и скорехонько расклевали пшено. За ужином, когда мы ели приготовленные отцом щучьи котлеты, хозяйка сказала:

— С рыбалкой у тебя получается куда лучше, чем с земледелием. Так что, сынок, лови рыбу, а сельское хозяйство оставь другим.

Ей тогда выписали целых одиннадцать трудодней.

СНЕГОПАД

Мы стояли на трамвайной остановке у сквера. Падал снег. Я знал, что этот невысокий человек в очках с толстенными стеклами большой поэт, но стихами его в те времена не интересовался. Впрочем, одно, самое знаменитое стихотворение о войне, в памяти держал.

Волею очень давних, фронтовых обстоятельств, он был дружен с родителями дорогой моему сердцу девушки. И много лет прожил в доме, где жили они. Потом переехал. А сейчас мы стояли перед окнами того самого дома и смотрели, как падает снег. Хлопья мягко ложились на ветви старых деревьев, на узоры чугунной ограды, на рельсы, на асфальт, на головы и плечи прохожих.

— Когда-то давно, — он помолчал, вспоминая, — когда-то давно этот прекрасный снег я уже видел. И самое странное, что видел здесь же — на площади Борьбы.

Подождал трамвай. Поэт не захотел садиться.

— Знаете что, — предложил он вдруг, — идемте-ка лучше пешком — нам ведь недалеко. Жалко оставлять такой снегопад.

Прошли Палиху, потом Лесную. Терзаемый наивными размышлениями о литературе, я, старшеклассник, задавал ему вопросы, которые должны были показаться нелепыми, однако он отвечал. И вот, когда я глубокомысленно изрек, что стихи писать труднее, чем прозу, он покачал головой и сказал неожиданное:

— Поэзия зарегулирована, она зажата рифмой и ритмом. А проза — свободна, в ней — безграничный простор. Если стихотворение, даже самое гениальное, положить на музыку, — выйдет всего лишь одна мелодия, ну, может, с некоторыми вариациями. А в прозе — столько мелодики, столько интонационного разнообразия. Вон Петр Ильич в “Пиковой даме” переложил на музыку несколько страниц пушкинской прозы — потрясающее богатство мелодий! Так что у прозы можно многому поучиться. Я, между прочим, так и делаю: учусь писать у русской прозы — честное слово.

А когда в метро расставались, он сказал, что поминок не любит еще с войны и что бывшие соседи его за этот год сильно сдали — особенно мать.

МИХЕЙ

Первый самолет доставил меня в большой северный город, второй — в старинное село на берегу широкой реки, третий должен был улететь в таежную глушь, но разгулялся шквалистый ветер, и небо закрыли. Местные жители, предполагавшие отправляться кто в большой северный город, кто со мною в деревню, разошлись по домам, остались только два дядьки да я. Мы поднялись на второй этаж бревенчатого сарая, который служил и аэровокзалом, и гостиницей с десятиместным номером, разместились на кроватях и стали ждать достойной погоды. Две пары пилотов устроились против нас и завели негромкий разговор о начальстве, жаловании, запчастях... Дядьки, лежавшие рядом со мной, обсуждали что-то электротехническое — они обеспечили село телефонной связью и теперь возвращались в Москву.

Свет не зажигали, и, когда стемнело за окнами, у нас тоже стало темно. Пилоты переговаривались все реже и реже, дядьки было совсем затихли, пожелав друг другу спокойной ночи, но потом между ними возник разговор, который меня не только заинтересовал, но и встревожил.

Тот, что лежал на соседней койке, задумчиво произнес вполголоса:

— Странное дело эта охота: человек пролетел полторы тысячи километров на двух самолетах, да ему еще на третьем лететь... Спрашивается: ради чего?..

Похоже, он полагал, что все уснули, — вопрос его обращен был словно к самому себе. Однако второй дядька сонно пробормотал:

— Пуще неволи...

— А зачем? Ты понимаешь?

Тот вздохнул, освобождаясь от дремоты, и сказал, что не может объяснить, а вот его старший брат понимает, поскольку отец у них был охотником, и старший брат свидетельствовал эту страсть. А младший не застал — отец рано умер. И рассказал, что у старшего на работе появился парнишка, который в восемнадцать лет купил ружье и, как только наступает охотничий сезон, увольняется: отпуск-то ему еще не положен. А по возвращении брат снова принимает его. Без всяких вопросов: охотник, и этого достаточно. Из уважения к отцовской привязанности, хоть сам нисколько ей не подвержен. Сейчас парнишка снова ушел с работы и отправился куда-то на север, чуть ли не в эти края.

Тут вспыхнула ревность: вдруг неизвестный ровесник опередил меня и занял прекрасные утиные плесы, о которых мне рассказывали студенты-геологи? Но по размышлении признал, что места в тайге нам хватит, а с земляком будет даже повеселее. Разговор завершился, и все уснули.

Утром, когда погода исправилась и нас по громкой связи стали вызывать к самолетам, я услышал знакомую фамилию, отчество и понял, что один из ночных собеседников был братом директора моей типографии, а значит, таинственным парнишкой-охотником оказывался я сам... Тысячи километров тайги раскинулись передо мною, и застоявшийся Ан-2 лихо рванул с земляной полосы сельского аэродрома.

Приземлились на луговине. Летевшие со мной пассажиры знали, куда им следует направляться, и сразу ушли, а я остался перед начальником аэропорта — человеком в куртке-канадке и форменной фуражке "Аэрофлота". Надо заметить, что разобранный ружье было в рюкзаке и зачехленные стволы лишь ненамного высовывались сбоку от клапана.

— Турист? — поинтересовался начальник.

— Нет, — говорю.

— Геолог?

Опять: "Нет".

— Журналист?

Я отрицательно помотал головой.

— Что — охотник?

— Охотник.

— Так бы и сказал! — воскликнул он, распахнув руки, словно для объятия.

Я молчал, ожидая, что последует за этим излиянием чувств.

— Тебе надо к Михею, — с ходу определил начальник аэропорта.

Я согласно кивнул.

— Далеко? — спрашиваю.

— Семьдесят пять километров — дня за три дойдешь.

— Дня за три, — прикинул я, — может, и дойду. А куда идти-то?

Оказалось — просто: через деревню, а дальше левым берегом реки, никуда не сворачивая. Хотя куда тут можно было свернуть, я даже впоследствии, прожив на реке месяц, так и не понял — тайга непролазная. Мы попрощались, и я пошел. К Михею. За семьдесят пять километров. Меня в этом предприятии ничто не смущало, и вот почему. В те далекие времена был чрезвычайно распространен самостоятельный туризм: пеший, байдарочный. Мои старшие братья отдавали хождению по стране все свободное время — и меня привадили, так что еще в отрочестве я приобрел опыт таежных походов. Однако ружье заставило разлучиться с пожирателями километров — сезоны не совпадают, да и содержимое рюкзаков различается: туристы берут все, что может понадобиться, а охотники только то, без чего нельзя обойтись. Сейчас у меня не было даже палатки: вместо нее — кусок полиэтилена. Если к стволу старой ели привязать на небольшой высоте веревку, другой конец которой крепится к соседнему дереву, накрыть веревку пленкой, чтобы образовалась двускатная крыша, приткнуть пленку сучками к земле, напихать под кровлю побольше лапника — можно будет переночевать даже в сильный дождь. Особенно благодатно, когда нижние ветви дерева образуют шатер.

Прошел я деревню, во дворе у последней избы мужик мастерит лодку. Увидел меня и спрашивает:

— Куда направляешься?

— К Михею.

Он отложил топор:

— Погоди малость, надо ему сметанки свезти. Да и хлебушка не мешало...

Мужик оказался родственником неведомого Михея, и время пути моего вместо трех суток пешего хода заняло на моторке всего семь часов.

В охотничьей избе прожил я до холодов. По ночам ловили рыбу: хариусов, сига, налимов и щук. Днем я старался добыть дичь для пропитания, а Михей настраивал капканы и ловушки: он был промысловиком — зимой охотился на пушного зверя. Если не везло с дичью, жарили рыбью икру: положишь на горячую сковородку — она сразу белеет, перевернешь на другой бок — через минуту готова.

Шли дожди, и Михей частенько ругал израненную на войне руку, которая отказывалась работать: побранит, побранит — глядишь, она и послушается. Мы с ним задружили... Такой уж народ фронтовики — люди цельные, великодушные — не задружить невозможно. Я их застал еще множество и тем счастлив.

Когда начался ледостав, меня подобрал рыбак, спускавшийся с верховьев реки. Михей выкатил бочку соленой рыбы — мой заработок. Я совершенно не представлял, каким образом везти ее на трех самолетах, и решительно отказался. Тут к Михею присоединился рыбак, и они стали доказывать мне, что забрать трудовую долю — мой беспрекословный долг. И если я откажусь, их представления о добре, справедливости и смысле жизни вообще могут разрушиться. А таежники эти, следует указать, были старообрядцами, то есть порядок ценили неопишимо. Стоговались на двух ведрах — это я хотя бы мог унести в руках. Однако носить не довелось.

Рыбак приволок эмалированные посудины на аэродром, переговорил с начальником, тот пошептался с пилотами, и, когда прилетели в старинное село, пилоты перегрузили ведра на другой самолет. То же случилось и в большом северном городе. А в Шереметьеве рабочий на электрокаре довез мою долю до стоянки такси. Вот какой благодати сподобился я по просьбе Михея: охотник присил — и этого оказалось достаточно. Вообще-то он Клим. Климент. Михей — от фамилии, для своих.

Мы долго переписывались, я посылал ему рыболовные снасти, он мне зимою — замороженных глухарей. Потом я стал ездить в другие края, и пе-

реписка угасла. А теперь... Да что теперь? Прошла целая жизнь с того дня, как мы отпраздновали его сорокалетие.

Но вот что интересно: начальник аэропорта при первой нашей встрече даже не полюбопытствовал, откуда я: охотник и все, этого было достаточно.

НЕЧТО НЕПОПРАВИМОЕ

Год был холерный. Актриса заболела. График съемок пришлось изменить. Отправили телеграммы актерам, находившимся в отпусках. Одно послание почта вернула: “Такого адреса нет”. Режиссер сказал: “Без этого человека фильм не состоится. Надо искать”. Работали мы в Латвии, а искать предполагалось в Литве. Литовские актеры, участвовавшие в съемках, тоже признали адрес явной нелепостью, однако вспомнили, что нужный нам человек отдыхает, как правило, где-то под Каунасом. На уединенном хуторе. Возле озера. Сверх этого земляки ничего не знали. Режиссер спрашивает меня:

— Найдешь?

Это он вовсе не от избытка доверия, а по причине моей малоценности: я был рабочим в съемочной группе, и без меня советский кинематограф вполне мог обойтись.

— Попробую.

— Сколько надобно денег?

— Пятьдесят рублей.

Он сказал, что этого недостаточно, и дал шестьдесят — минимальная по тем временам зарплата. Так платили и мне на съемках.

До Каунаса я добрался легко. На автостанции увидел схему здешних маршрутов — там было нарисовано озеро, но автобусы к нему не ходили, сворачивали куда-то в сторону. Взял билет до этого поворота, протянул кассирше телеграмму с неправильным адресом — она лишь пожала плечами.

Доехали до небольшого селеньица, вышел я на главной площади — куда теперь? Пустынно, и спросить не у кого... Из открытых дверей костела доносилась органная музыка: звучал Бах. Причем инвенцию эту я когда-то играл в музыкальной школе. Но недоставало одной нотки — фа диеза. Заглянул в костел: над входом балкончик, а там, судя по всему, инструмент. Вскоре меня обнаружили, и музыка прекратилась. Исполнитель встал — это был парнишка моего возраста. Он произнес что-то по-литовски. Не понимая, я развел руками.

— Вам — что? — музыкант перешел на русский.

— А где фа диез? — спрашиваю.

— Нет фа диеза, — и вздыхает.

— Без фа диеза нехорошо.

— Плохо, — соглашается он, — может, вместе посмотрим?

Я поднялся по узкой лесенке. В компании мы оказались смелее и разобрали фисгармонию, насколько возможно: один из клапанов был зажат иссохшей мышкой.

— Похоже, — говорю, — костел ваш не сильно богат.

— Да уж куда там...

И рассказал, что учится в консерватории, приехал к родителям на каникулы, заодно хотел подработать, но платят мало. Я в ответ — про себя: где учусь, куда устроился на все лето, сколько платят. Заодно показал злосчастную телеграмму. Парень и говорит:

— Надо спросить у ксендза — он тут все знает, — и ушел.

А я уселся за инструмент, накачал педалями воздух, взял аккорд и замер от восхищения — настолько богат и объемен был звук. Просмотрел ноты — репертуар органиста, разобрал с листа пару несложных вещей, а потом стал играть все, что взбрело в голову. К полной моей неожиданности, особенно впечатляло органное звучание русских песен: скажем, из “Тонкой рябины” получался настоящий хорал. Музыкант принес добрую весть: слово, которым в телеграмме обозначался район, являлось названием конезаво-

да в двадцати километрах отсюда. Слова, именовавшие почтовое отделение и хутор, оставались пока загадкой.

На прощание он сказал:

— Ксендз живет рядом, окошки открыты...

Я ему:

— Прости, друг!

— Да нормально все, не волнуйся. Ему очень понравилась одна песня. Говорит, с детства ее очень любит. Он вообще-то питерский, из русских литовцев. Не наиграешь? Там что-то про столетнее дерево, а какое — забыл...

Стал я перебирать известные мне деревья, пытаюсь найти столетнее, и, в конце концов, оно отыскалось:

— “Липа вековая”?

— Точно! Играй!

Липа, надо сказать, звучала не менее грандиозно, чем рябина. Органист повторил за мной мелодию этой старинной песни, и мы расстались.

Конезавод пришлось искать на попутных. Сначала это был мотороллер, потом — мотоцикл, за ним — колесный трактор конезавода и в конце пути — велосипед, на раме которого мальчишка доставил меня через сосновый бор к потаенному хутору. Я уже знал, что вместо почтового отделения в наш адрес была вписана речка, зато хутор именовался правильно — но кто ж знает его за пределами ближайшей округи?

Жилые и хозяйственные постройки, соединенные черным от времени дощатым забором, образовывали квадрат. Толкнув калитку, я оказался на просторном дворе. Прикинул, где тут вход в жилье, и постучался. Ответа не было. Вошел в дом, спросил:

— Есть кто?

— Да-да, — услышал я хриплый, простуженный голос.

Так началось знакомство с человеком, без которого наш фильм не мог состояться. Тут же он через распахнутое окошко представил меня своей жене: она собирала грибы в тридцати метрах от дома. Потом накопили червей, я получил удочки, лодку и выехал на середину обширного озера, чтобы в совершенно прозрачной воде наловить рыбы. Ужин получился богатым: хозяйка нажарила и подосиновиков, и окуней.

Спросил я про загадочный адрес. Они долго не могли ничего понять, однако сошлись вот на чем: режиссеру попала записка, оставленная приятелю-актеру, который собирался заехать сюда на машине. И в качестве ориентиров были упомянуты конезавод и речка.

— Оказалось, что дело это вполне поправимое, — приветливо сказала жена.

— Как, впрочем, все и всегда, — заключил супруг.

— Нет, — возразила она неожиданно строго, — не всегда: а лишь до тех пор, пока о нас кто-то молится.

С командировкой моей все сложилось удачно, а десять рублей я сберег и возвратил режиссеру. Зимой театр, в котором служил этот актер, был в Москве на гастролях. Мы встретились после спектакля, вспомнили подосиновики, окуней, телеграмму. “Я ведь оставлял им почтовый адрес! Но в кино всегда что-нибудь да напутают, — смеялся он, — впрочем, как говорит моя жена: “дело это вполне поправимое”.

“Пока о нас кто-то молится”, — добавляла она.

Через несколько лет я узнал, что молиться о нем никто не сможет.

ТОРЕАДОР

Мы тогда бродили по мелким речкам, в которых водился хариус. Тверская губерния, триста верст от Москвы, а рыбешка — вполне сибирская. Проводником был местный писатель, изучивший здешние края до такой мелкой степени, что прослыл еще и краеведом. Ночевали в лесу — на лапнике у костра и, конечно, не высыпались. И вот как-то возвращаемся: вышли к

тракту напротив небольшой деревеньки, ждем автобуса. День солнечный, теплый. Приятель мой устроился на скамье под железным навесом, означавшим автобусную остановку, а я рядышком прилег на траву, по-весеннему яркую, совсем еще не запыленную.

— Тебе здоровья не жалко? — спрашивает.

Он старше меня и, конечно, мудрее.

— Жалко, — говорю.

— Земля-то еще холодная.

— Холодная, — но подниматься не хочется.

— Ну, лежи...

И я лежу.

Солнышко греет, гудит шмель, разморило. И тут произошло что-то неразборчиво шумное: я успел приподняться на локте и увидел, как, срывая с петель калитку, в огород крайней избы вламывается огромный розовый бык, а какой-то человек, убегая от него, заскакивает в сооружение известной надобности. Бык не останавливается, и через мгновение дощатая будка взлетает ввысь и рассыпается там, словно от взрыва. Человек, совершив над штакетником подобие мертвой петли, падает на дорогу, но тут же встает и бросается вдоль домов. Вероятно, чтобы отыскать себе более спасительное убежище. Однако преследователь, сотворив разгром, успокоился и побрел восвояси. Я спросил у приятеля, почему он розовый. Оказалось, что на самом деле он бежевый, а солнечное освещение придает ему столь неожиданный колорит.

Происшествие получилось ярким и молниеносным, однако многозначительность его открылась нам только поздней осенью.

В летнюю пору мы этой рыбалкой не занимались: хариус, известное дело, рыба нежная, хранению не поддается. Весной и осенью еще куда ни шло, да и то мы старались как можно скорее отдать улов кому-нибудь в путных селениях, а уж летом, по жаре — безнадежно, пропадет сразу.

Вышло так, что одно из наших осенних путешествий завершилось в той самой деревне. Моросил невесомый дождик, но теперь я, конечно, не лежал на траве, а сидел рядом с приятелем под навесом. Сидим, вспоминаем весенний случай, и тут из-за той же крайней избы появляется все тот же бык. Правда, на сей раз действительно бежевый. И теперь он ни за кем не гонится — его ведет на веревке молодой паренек в плаще. Когда они поравнялись с автобусной остановкой, сам собой возник разговор, и нам открылась трагическая пастораль быка Платошки.

Выяснилось, что человек, убежавший от него весной, работал здесь пастухом и, похоже, был сильно подвержен губельной страсти винопития, из-за чего иногда засыпал в тени под кустом. Тут руководство коровами безраздельно переходило к Платошке, который в поисках более тучных пастбищ мог увести все стадо незнамо куда. Случалось, на поля, засеянные совсем для другого предназначения. Начальство было недовольно таким пастухом, а он в отместку истязал животину: зайдет, бывало, на скотный двор, где быка подвязывали за продетое в ноздри кольцо, и бьет его палкой, приговаривая: “Я тебе устрою корриду!”. Весной это противостояние едва не завершилось бедой — дощатое сооружение выручило. А неделю назад, когда пастух в бессчетный раз превзошел все пределы и уснул под кустом, Платошка растоптал его насмерть. Парень, который оказался подпаском, повис у быка на шею, но воспрепятствовать не сумел, и жизнь сельского тореадора бесславно оборвалась. Платошке за это преступление вынесли скоропалительный приговор — на бойню.

— Все теперь называют его убийцей, — сказал паренек, — а он вообще-то тихий... и умный... и коровы его уважают... Ну, бывайте. Пойдем, Платоша.

Бык, неподвижно мокнувший все время нашего разговора, смиренно шагнул за подпаском. Шел он спокойно, не ведая за собой никакой вины, и покачивал головой в такт шагам, как это принято между всеми его сородичами, ступающими по земле.

ЖЕНСКОЕ СВОЙСТВО

Мы проводили целые дни на моторках в поисках рыбы, а встречались только за обедом и ужином. Обычно они слегка опаздывали, но деликатно, совсем немного.

Первым в кают-компанию заходил глава семейства: коренастый мужчина преклонных лет. Следом — супруга, под стать ему: невысокая, крепенькая, такая же серебристо-седая. За ними — зять, дочка, подруга дочери и, наконец, муж подруги. Все поочередно желали мне приятного аппетита и чинно рассаживались. Старики ели, не поднимая глаз, молча, сосредоточенно. Вилками и ложками действовали в столь единодушном согласии, что последний глоток чая получался у них одновременно. Промокнув губы салфеткой, они вставали и, пожелав остававшимся приятного аппетита или спокойной ночи, уходили в каюту.

У зятя то и дело звонил телефон, и начинался интереснейший разговор о тонкостях исполнения фортепианных пьес Гуммеля, Франка, Герольда, Филда и еще каких-то композиторов, о которых я прежде слыхом не слыхивала. Добиваясь нужной нюансировки, зять напевал отдельные музыкальные фразы, повторяя их неоднократно. Похоже, он был преподавателем серьезного заведения. Третий мужчина был тих, молчалив и малозаметен. Зато подружки болтали безостановочно.

Их разговоры позволили мне предположить, что вся компания, за исключением, пожалуй, музыканта, знакома по жизни в каком-то закрытом городе. Несколько лет назад отец — человек явно авторитетный — переехал с семьей в Москву, где дочь его вышла замуж. Подружка оставалась на прежнем месте, а ее благоверный занимался там же чем-то компьютерным. И вот они съехались, чтобы отдохнуть в дельте Волги на маленьком теплоходе, переделанном из речного трамвайчика: теперь в нем были каюты. И новообращенная москвичка без устали выясняла про общих знакомых:

— А Танька Романова как?

— Нормально. Муж — компьютерщик, двое детей.

— А Милка Девяткина?

— Ходит к ней пожилой мужичок...

— Постоянный?

— Даже не знаю. Вот Катька Сухоцкая мается: то один, то другой, то третий — и все без толку, не везет. И девка красивая...

— Не расплнела?

— Пока в форме — сорок шестой размер.

Беседы эти текли и текли за каждой трапезой: “А Нинка?.. А Лариска?.. А Райка?..”.

Иногда воспоминания усложнялись:

— А эту помнишь: до седьмого училась у нас, а потом перешла в другую школу? Забыла, как ее...

— У которой в первом классе был голубой бант?

— Не голубой — бирюзовый.

— Ну, бирюзовый, в крупную клетку, да?.. Любаша Тихонова. По мужу Пенькова. Развелась — пил страшно. Теперь одна сынишку воспитывает.

Однажды жена музыканта стала рассказывать, как они ездили в Австрию слушать разных замечательных исполнителей.

— А ностальгией ты не страдала? — поинтересовалась подруга.

И тут впервые к разговору присоединился отец семейства:

— Ностальгия, барышни, это мужское свойство, — сказал он, не поднимая глаз от рыбной котлеты.

— А наше — что? — спросила дочка с детской кокетливостью.

— Ваше — замуж.

— И все?

— Замуж, замуж и замуж, иначе вы как собачонки бесхозные.

— А рожать детей? — присоединилась подруга.

— Дело хорошее, но сперва — замуж.

— Некоторые женщины утверждают, что и без мужей им вполне комфортно, — продолжила подруга.

— Врут или нездоровы.

Жена его никак не реагировала на происходящее — даже бровью не повела. Закончив ужин, по обычаю, одновременно, они пожелали всем доброй ночи и, не поднимая взоров, ушли.

Капитан теплохода был моим давнишним приятелем — я знал его еще молодым, когда он ходил на “Ракете” с подводными крыльями. Поинтересовался у него насчет компании.

— Папаша-то академик, — сказал капитан, — по атомной части. Он в здешние края много лет ездит — наши мужики его знают. Говорят, раньше останавливался только на брежневской базе и рыбачил с охранником, а теперь ученые эти никому не нужны.

— А что, — спрашиваю, — он такой замкнутый, а жена его вообще молчит?

— Старая закалка — привыкли к секретной жизни. А по мне — компания замечательная: не напиваются, не хулиганят, с теплохода не прыгают. Я же обещал тебе, что люди будут приличные!.. Насчет рыбалки, конечно, не все... Академик, понятное дело, профессионал. Жена не ловит, но постоянно при нем: у него хворей без счета, а она врач, следит за ним неотрывно. Если ей что не понравится, сразу ему какую-нибудь таблеточку или укол. А когда он чего-нибудь выловит, она радуется, как дитя. Пятьдесят лет вместе, представляешь? Он баб по кочкам несет — дым коромыслом, а ее — ни-ни, даже голоса никогда не повысит. Зятек — тот рыбачит неплохо, с увлечением, хоть и блажит в телефон. Дочка тоже умеет — отец еще с малолетства ее пристрастил. А третья пара совсем никудышная. Мужик съездил разок — не понравилось, теперь сидит безвылазно у компьютера. Жена ругается: ей этот компьютер и дома уже опротивел, хочет рыбу ловить. Может, захватишь ее с собой?.. Спиннинг у них какой-то есть — пусть кидает. А она тебе будет леску в поводки продевать — ты же, поди, не видишь. Завтра утречком порыбачите, лодки пришвартуем и спустимся километров на пять пониже — где-то ведь должен быть судачок.

Оставшиеся до конца недели дни женщина путешествовала со мною. Выловленная рыба, что большая, что маленькая, приводила ее в состояние такого восторга, какого я за долгую жизнь не встречал. Иногда я даже отклонялся удильнице, потому как наблюдать за проявлением столь значительных чувств было куда притягательнее, чем таскать жерехов и окуней. Однажды она, словно рассуждая сама с собой, обронила:

— А вообще академик прав: нам главное — замуж, и почти все равно, за кого.

Помолчав, добавила:

— Я вон выскочила и страдаю теперь: мы друг другу совсем чужие. Но двое детей, и маяться так до самой смерти.

Мне казалось, что брак подруги ее более гармоничен, и я сказал ей об этом.

— Да что вы, — махнула рукой, — муж помешан на классике, а она классику на дух не переносит — ей джаз или рок подавай. Но первое время, чтобы охмурить, ходила с ним на концерты, хотя и плевалась потом. Ну, выскочила. И до сих пор плюется, хотя на концерты уже не ходит.

— А родители? — спросил я.

— Это другое дело. Я ведь их с детства знаю, и они всю жизнь как единое существо. Хотя характеры непростые. Что-то в людях теперь поменялось. Я как-то спросила, и академик ответил, что поменялось совсем немного. “Раньше, — говорит, — пели: “Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви”, а теперь поют: “от твоей”, вот и вся разница”.

Когда рыболовный тур закончился, теплоход возвратил нас в городскую действительность. Пройдя регистрацию, мы ждали посадки на самолет. Музыкант, стоя у окна, не отрываясь от мобильного телефона, напевая время от времени обрывки мелодий. Красивых мелодий, а значит, девятнадцатого столетия. Или восемнадцатого. Компьютерщик сидел с ноутбуком на коленях и напряженно вглядывался в экран. Родители были, как всегда, рядышком и не поднимали задумчивых глаз. А подруги все щебетали, слышалось только: “Постоянный?.. Разведен?.. Часто встречаются?..”.